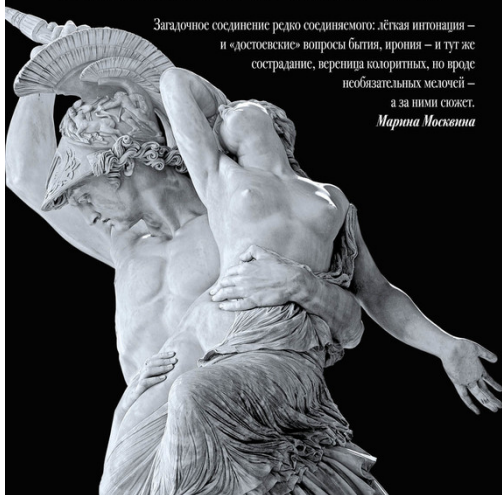


ИРИНА МУРАВЬЁВА

ЕЛИЗАРОВ КОВЧЕГ

Загадочное соединение редко соединяемого. Лёгкая интонация –
и «достоверные» вопросы бытия, ирония – и тут же
сострадание, вереница колоритных, но вроде
необязательных мелочей –
а за ними сюжет.

Марина Москвина



Ирина Лазаревна Муравьева Елизаров ковчег (сборник)

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=17118786

Муравьева, Ирина Лазаревна. Елизаров ковчег: Издательство «Э»; Москва; 2016

ISBN 978-5-699-85277-2

Аннотация

В эту книгу вошли знаменитые повести Ирины Муравьевой «Филемон и Бавкида» и «Полина Прекрасная», а также абсолютно новая – «Елизаров ковчег», на которую можно посмотреть и как на литературный розыгрыш, в глубине которого запрятана библейская история о Ное, и как на язвительный шарж на род человеческий, который дошел до края своими рискованными экспериментами с душой. Текст этой вещи переполнен страхом перед уже различимыми в нашем будущем результатами этих зловещих опытов.

Содержание

Филемон и Бавкида	5
1	5
2	14
Сон в летнюю ночь	20
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Ирина Муравьева

Елизаров ковчег (сборник)

© Муравьева И., 2016

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2016

Филемон и Бавкида

1

В загородном летнем доме жили Филемон и Бавкида. Солнце просачивалось сквозь плотные занавески и горячими пятнами расплзалось по отвисшему во сне бульдожьему подбородку Филемона, его слипшейся морщинистой шее, потом, скользнув влево, на соседнюю кровать, находило корявую, сухую руку Бавкиды, вытянутую на шелковом одеяле, освещало ее ногти, жилы, коричневые старческие пятна, ползло вверх, добиралось до открытого рта, поросшего черными волосками, усмехалось, тускнело и уходило из этой комнаты, потеряв всякий интерес к спящим. Потом раздавалось кряхтение. Она просыпалась первой, ладонью вытирала вытекшую струйку слюны, тревожно взглядывала на похрапывающего Филемона, убеждалась, что он не умер, и, быстро сунув в разношенные тапочки затекшие ноги, принималась за жизнь.

Она хлопотала и торопилась, потому что к тому моменту, как он проснется, нужно было приготовить завтрак, сходить за водой, вымыть террасу – грязи она не терпела. Питиевую воду набирали из колодца, а та, которая шла из садовых кранов, считалась недостаточно чистой, поэтому ею только умывались, мыли посуду, стирали. Ночью был сильный дождь, глинистые дорожки скользили. Боясь упасть, она осторожно ступала надетыми на босу ногу галошами, перегнувшись на правую сторону, где вспыхивала от ее неловких движений ледяная прозрачная вода в узком и высоком эмалированном ведре.

– Жень! Евгений Васильна! – дребезжал Филемон. – Который час?

Она приотворяла дверь с террасы:

– Да уж десятый, Ваня. Вставай. Прошла голова?

– Померяй-ка лучше, – прокашливался Филемон. – А то кто его знает...

– Береженого Бог бережет, – успокаивала она и, присев на краешек постели, охватывала его руку черным резиновым рукавом измерительного аппарата. Оба затаивали дыхание. Бульдожий подбородок Филемона мелко дрожал от слабости.

– Ну, вот и хорошо, – облегченно вздыхала она. – Вот и молодец. Сто сорок на восемьдесят. Иди чай пить. Скоро Аленушку привезут.

Три года назад младшая дочь Татьяна родила большое бледное дитя. Татьяна была не замужем, и долго никто не обращал на нее внимания – до того она походила на отца, вся в его бульдожьей породе. Но вот наконец съездила в туристическую по Венгрии и Чехословакии и вернулась оттуда беременной.

«Он у меня женится, мерзавец! – грохотал Филемон. – А не то в порошок сотру! Полетит из органов, сукин сын! Куда Макар телят... Ишь распоясылись!»

Но время шло, Татьяна так и жила нерасписанной, таскала свой острый живот на предзащиту, стучала ночами на машинке, пропадала в библиотеке, а за месяц до родов получила-таки кандидатскую степень и место старшего преподавателя в Политехническом институте. Это, наверное, заставило призадуматься работника органов с небольшой ранней лысиной и аккуратным лицом, который хоть и не женился, но не избегал ее, иногда ронял сквозь каменные губы нерешительные предположения о трехкомнатном совместном кооперативе и на второй день после рождения ребенка принес в роддом кулечек подтаявшей маслянистой клубники.

Девочку называли Аленушкой, и чем старше она становилась, тем меньше подходило ей это сказочное длинное имя. Обезумевшая от материнских инстинктов Татьяна раскормила бедную Аленушку до подопытных размеров. В три года она выглядела на шестилетнюю, и

вещи ей приходилось покупать в той секции «Детского мира», где было написано «Одежда для младших школьников». С песнями, причитаниями, игрушками, книжками, колотушками усаживали за стол плотно обернутое салфеткой, мучнистое, с огромными бантами создание и заталкивали в упирающийся рот булки с паюсной икрой, куски молодой телячьей печенки, черную смородину, тертую с сахаром, заливали густым морковным соком. Спеленатая салфетками Аленушка пробовала сопротивляться, кричала басом, колотила плотными ножками по высокому детскому стульчику. «А вот летит, летит, летит воробышек, – умоляла Татьяна, – а вот мы его сейчас – ам!» Аленушка давилась, ее рвало съеденным, и тут же ее умывали, переодевали в чистое для младших школьников, дрожащими руками мазали новую икру на новые булки, пронзительной машиной давили бугристую рыночную морковь...

– Вставай, Ваня, – говорила Бавкида. – Сегодня Аленушку привезут.

– Ну? – радостно ужасался Филемон. – На рынок, значит, надо, а, Жень?

– Сходим, сходим, пока жары нет. Или ты дома оставайся. Я одна.

– Да чего одна? Я с тобой, – дребезжал он. – Э-хе-хе... Вместе жили, вместе помирать будем... Э-хе-хе...

Она следила, чтобы он не забыл принять все свои лекарства, капала в его мутные выпуклые глаза заграничные капли, лезла под кровать и, расставив огромные растрескавшиеся пятки, долго шарила там в поисках его закрытых башмаков на микропорке. Вместе шли на рынок, и так же, как он, она суетливо здоровалась со знакомыми, хвалила хорошую погоду, расспрашивала про здоровье, лестила чужим детям в колясках и даже посмеивалась так же, как он: «Э-хе-хе, хе-хе...»

Иногда на Филемона находили приступы ярости. Она пугалась их, потому что каждый такой приступ мог кончиться инсультом. Поселковые мальчишки ломали рябину, сидя верхом на чужом заборе. Филемон набухал лиловой кровью и бросался на забор с высоко поднятой палкой, украшенной тяжелым набалдашником: «Я вас сейчас! Хулиганье поганое! Убью сволочей!» – хрипел он. Она сзади хватала его за локти: «Пойдем, Ваня! Брось ты их! Ва-а-ня!» Тяжело отдуваясь и дыша со свистом, Филемон продолжал свой путь к станции, медленно успокаиваясь: «Ну, сволота! Ну, погань! Перестрелять не жалко!» И опять она поддакивала: «Да уж, конечно... Мараться об них... Себя бы поберег!» – «Порядка нет, Евгений Васильна! – грустнел бледно-лиловый от недавнего гнева Филемон. – Потому такое поведение, что ни в чем никакого порядка... Распустились...» – «Молчи ты, Ваня, – пришептывала она и тут же улыбалась кривой лицемерной улыбкой: – Ты смотри, кого мы встретили! Сколько лет, сколько зим!» – «Э-хе-хе, – обмякал Филемон, смешно приседая от косноязычного умиления при виде очередного знакомого с колясочкой. – Вот, значит, кто нас опередил! Нам поди и смородины на базаре не оставили? Э-хе-хе...»

После обеда к дачному забору подъезжала ведомственная машина. Нерасписанный зять помогал доставить Аленушку к деду с бабкой. Из машины вылезала худая, с тяжелой челюстью и ярко-белыми ломкими волосами Татьяна, изнемогая под тяжестью заснувшей дочери. Они кубарем скатывались с лестницы ей навстречу. «А вот и наши, а вот и наши, – сюсюкал Филемон. – Давай, Женя, на стол накрывай. Вот и приехали. Внушеньку дедушке привезли...» Пообедав, уставшая Татьяна в открытом сарафане собирала ягоды или качалась в гамаке с газетой, а они наполняли водой пластмассовую ванночку, выставляли ее на солнце и вдвоем, стучаясь сгорбленными плечами, купали в ней пузатую, перекормленную Аленушку, которая, выпучив голубые глаза в небо, расплескивала мыльную воду своими пухлыми, неповоротливыми руками. Вечером Татьяна, подчернив брови и густо намазавшись розовой помадой, торопилась на электричку, а они оставались с Аленушкой. Тогда Филемон начинал читать ей сказки: «Я б для батюшки-царя родила богатыря», – бормотал он,

сам засыпая и монотонно покачивая детскую кроватку. Аленушка громко икала. «Ай беда какая! – сокрушался Филемон. – Водички ей, Женя, малиновой водички внученьке...»

Наикавшись и наглотавшись малиновой воды, Аленушка засыпала. Филемон разворачивал газету. Она домывала посуду узловатыми плоскими пальцами. Усталость одолевала ее, и в голову лезли мысли о том, что завтра нужно опять пойти на базар (забыли купить ревеня – у Филемона нелады с желудком!), перестирать все Аленушкины маечки, вымыть наверху комнату, потому что в пятницу Татьяна может приехать не одна, а с уклончивым нерасписанным зятем, и тут уж надо в лепешку разбиться, но обеспечить им семейный уют, и вкусный обед, и чистое, лоснящееся, сытое до икоты дитя, чтобы у нерешительного мужчины с ранней лысиной и каменными губами появилось твердое ощущение, что вот это и есть его дом, дача, жена и дочь.

«Нет, – хрипел Филемон, грозя куда-то в газету седовласым дрожащим кулаком. – Нет, при хозяине бы такого не было! Перестреляли бы всех к такой-то матери!» Возводил закапанные заграничным раствором мутные глаза на небольшой портрет в траурной рамке. Большеносое, черноусое лицо, снизу подпертое жестким воротником военного френча, ласково и коварно шурилось на Филемона. «Эх-хе-хе, – вздыхал тот, успокаиваясь, – эхе-хе, Евгений Васильна... – И тут же понижал голос: – Женя, я думаю, сообщить бы надо, что еврей этот иностранные газеты достает и читает – это раз, а самое-то главное – «голоса» ловит. С ихнего балкона все слышно. Меня не проведешь! Сообщить бы надо, Евгений Васильна...»

Она сухо вытирала чистым полотенцем растопыренные пальцы: «Себя побереги, Иван Николаич! Ты свое отслужил! Куда теперь сообщать?»

В глубине души ей казалось, что в свое время Филемон допустил промах, слишком рьяно отстаивая ценности комсомольской юности и не соглашаясь на признание каких бы то ни было ошибок известного периода. Его фанатическое упрямство и привело к тому, что сейчас, в старости, у них не было персональной машины с шофером, приходящей прислуги, дачи в Барвихе. Была, правда, однокомнатная квартира в доме на Кутузовском, была хорошая пенсия, ведомственная поликлиника, заказы два раза в месяц. Но у других-то, помельче Филемона, не имевших за спиной долгих лет ответственной работы в ЦК Узбекистана, – у других-то было больше! И она жалостливо смотрела на своего честного неслегкаемого старика, уткнувшегося в газету под портретом большеносого покойника, и думала, что, конечно, он опять прав: сообщить-то надо бы, но времена наступили такие, что и не знаешь: куда сообщить? Кому? Как бы не засмеяли...

– Спать ложись, Ваня, – уговаривала она. – Аленушка может ночью проснуться. Не выспимся... Завтра на рынок с утра. У меня обеда нет... Ты с ней на полянке побудешь, пока я управлюсь...

Кряхтя, укладывались на кровати, застеленные одинаковыми шелковыми одеялами. Филемон сразу же начинал посвистывать коротким свирепым носом. Она еще поправляла подушку под Аленушкиной головой, проверяла, выключен ли газ на кухне, закрыта ли на замок входная дверь. Опять ложилась. Луна, просочившись сквозь щель занавески, лизала ее съехавшую набок щеку с черным кустиком длинных волос. Из сада тянуло жасминовой свежестью. Соловей, дождавшись своего часа, разрывался где-то между землею и небом. Под его неутомимый голос она засыпала.

В одну из таких ночей ее разбудило тонкое бормотание. Она в страхе открыла незрячие еще глаза, села на постели.

– Убь-ю-у, ай-я-я-я! У-у-у! Кыш! – бормотал тоненьким дробным голосом Филемон, делая странные разрывающие движения слабыми белыми пальцами. – Убью-у-у-у сво-о-а-та-а-а!

– Ваня! – вскрикнула она и подбежала к нему. Лицо его было ярко-багровым, веки плотно зажмурены. – Иван Николаич! – Не соображая, что делает, она затрясла его за плечо.

Багровый Филемон раскрыл бульдожий рот с коротким мясистым языком, который сразу вывалился наружу, как будто его оторвали. Тогда, сунув босые ноги в резиновые калоши, она, как была в байковой ночной рубашке, простоволосая, выбежала на улицу и, задыхаясь, побежала по черной дороге вниз, к сторожке, где был единственный на весь дачный поселок телефон.

Через час два санитары заталкивали в машину накрытое белой простыней короткое тело со свистом дышащего Филемона, а она, сжав обеими руками большую отвисшую грудь в байковой ночной рубашке, объясняла им, что не может ехать с мужем в больницу, не с кем оставить внучку. Вернувшись в полную черной серебристой тьмой комнату с открытым в жасминовые заросли окном, она села на развороченную постель, с которой только что унесли багрового старика, и тихо, сдержанно всплакнула. Слезы были какие-то неосознанные, почти механические: жалко же его. Умрет, не дай бог. Всю жизнь вместе. Готовые фразы отпечатались в ее голове, словно кто-то написал их жирным шрифтом: «Умрет, не дай бог. Жалко его. Всю жизнь вместе».

Аленушка проснулась и басом заплакала. Она, надрываясь, взяла ее на руки: «Нельзя, нельзя плакать. Дедушка заболел. Жалко дедушку». Аленушка икнула оглушительно и затихла.

Утром приехала на такси Татьяна, осталась с ребенком, а она помчалась в кремлевскую больницу, где в паутине трубочек плавился на кровати слегка побледневший Филемон, узнавший ее и с трудом пошевеливший своей заросшей седой шерстью рукой. Посидев с ним полчаса, одернув простыню, обтерев влажным теплым полотенцем его бульдожье лицо, она с бьющимся сердцем поплелась караулить в коридоре лечащего врача, чтобы услышать от него, что Филемон не безнадежен, инсульта как такового нет и надо надеяться, что дело пойдет на поправку. У нее отлегло от сердца, и весь этот жаркий июль она провела в городе, каждый день таскаясь на троллейбусе сначала на рынок, а потом в больницу, ночами варила ему диетические супы, протирала куриную печенку, не доверяя даже «кремлевке» и проборматывая про себя, что домашнее всегда лучше. Как-то раз, сидя у его постели, она вдруг задремала, уронив худую голову с пегим пучком волос на затылке. Во сне ей показалось, что она сидит на каких-то нарах в раскаленном, полном голых женщин бараке и причесывается. Приснившееся было так нелепо и страшно, что она тут же и проснулась со слабым старушечьим стоном. Перед ней лежал румяный Филемон в красной домашней пижаме и с аппетитом хватал толстыми волосатыми пальцами принесенную ею клубнику. Спросонья ей показалось, что он порезался, что пальцы его в крови, и она испугалась. Но почти выздоровевший Филемон вдруг подмигнул ей правым, недавно избавленным от катаракты глазом и спросил: «А помнишь, Евгений Васильна, как я за тебя посватался?» Она затрясла головой, засмеялась, прикрыв ладонью рот, и сквозь смех ответила: «Да кто это помнит! Сколько лет-то прошло? Пятьдесят почти! Вот уж опомнился!» – «Да как! – И Филемон облизал сладкую клубничную кровь с большого пальца. – Э-хе-хе... Дай, думаю, на ентуй черненькой поженюсь! И поженился! Помнишь, Жень?» Она тихо колыхалась от какого-то щекочущего блаженного смеха: «И поженился? Греховодник ты старый, вот что! Только что вылечили, и тут тебе такие разговоры! Лежи тихо! Может, яблочко натереть? У меня и терка с собой, дома не стала, хотела, чтоб свеженькое...» – «Да-а-а, – не слушая ее, продолжал Филемон. – И поженился! И свадьбу сыграл! И увез енту черненькую за моря, за горы, в глубокие норы! Э-хе-хе-хе...» Она достала из сумки терку, стала было тереть ему яблочко и вдруг опять заснула, уронив голову. И опять голые женщины обступили ее в раскаленном бараке.

Прошло больше года. Дачный сезон подходил к концу, хотя дни стояли жаркие, полные солнца. В воскресенье утром она поднялась совсем рано, нагрела ведро воды и почему-то понесла его за сарай, в глухие крапивные заросли. «Вот здесь и помоюсь», – сказала она

себе, начисто забыв, что у них есть собственная банька, выкрашенная голубой пронзительной краской. В баньке вчера парился Филемон. Она стегала его веником по красной сгорбленной спине с большими угольно-черными родинками, а он, придерживая ладонями седой живот, приказывал: «Поддай жарку, Евгений Васильна! Жарку не жалеи!» – «Да куда тебе жарку, Ваня, – образумливала она его, босая, в сатиновом полужастегнутом халате, вытирая сгибом руки градом катившийся с лица пот. – Ты про давление свое подумай! Жарку...» – «О-хо-хо! – рыкнул коротенький, лопающийся от густой крови Филемон и отпустил живот на свободу. – Давление у меня в порядке. От бани русскому человеку одно здоровье, больше ничего!» Он облокотился руками на лавку, повернувшись к ней спиной, чтобы она еще постегала его веником и смыла остатки мыльной пены. Ей вдруг стало тошно от этой красной сгорбленной спины с угольно-черными родинками, расставленных кривых ног в редких прилизанных волосах, хлопьев пены на ягодицах... «Что-то мне душно здесь, Ваня, – пролепетала она. – Вытирайся, да пойдем чай пить. Аленушку пора укладывать...» – «Душно? – струсил Филемон. – Чего тебе душно? Пойдем, пойдем, раз такие дела...» Пили чай на террасе: она, Филемон и Татьяна с Аленушкой. В саду с мягким шелестящим звуком срывались с веток и падали на землю яблоки. Каждое падение заставляло ее вздрагивать. На столе образовалось круглое пятно света от низко висящего розового абажура, доставшегося им от прежних хозяев дачи. В этом пятне светились мокрые зернышки красной икры, белый хлеб с большими дырками, крупно нарезанный яблочный пирог с золотыми, чуть подгоревшими боками. Голос Татьяны, уговаривающий Аленушку допить сливки, звучал подобно утиному криканию. Аленушка давилась над стаканом и выпускала изо рта сливочные пузыри. «Ай-яй-яй, – прокричала Татьяна и голой костлявой рукой вытерла Аленушкин подбородок. – Вот бабушка сейчас наши сливочки – ам! Вот придет чужая нехорошая девочка и наши сливочки – ам!» Аленушка задышала тяжело, как лягушка, и ее слегка вырвало на кружевную грудку. «О-ох! – задребезжал Филемон. – О-ох, внученька... Давай, Женя, тряпочку! Внученьку опять...» Она было побежала в кухню за тряпкой, но вдруг остановилась от страха: прямо на ее глазах раздувшееся животное с лиловыми, трясущимися щеками лезло на другое животное, поменьше, с выпученными глазами и огромным зеленым бантом в голове, делающим его похожим на лягушку. Между этими двумя суежилась голая костлявая рыба с расходящимися во все стороны ребрами и вставшими дыбом ломкими волосами. Рыба при этом оглушительно крикала и разевала узкий голый рот с обломками белых костей внутри. Она прислонилась к притолоке и зажмурилась. Голова медленно и торжественно зазвенела, как пасхальный колокол. «Давай, Женя, тряпочку, – угрожающе произнес знакомый голос. – Тряпочку нам давай. Ты чего?» Она открыла глаза. В круглом пятне абажурного света сидели и смотрели на нее складчатый, красный после бани Филемон, голая до ключиц, бескровная Татьяна и насосавшаяся сладких жиров, замученная, огромная Аленушка с бело-розовой рвотой на кружевной грудке. Она спохватилась, нашла тряпку и, почему-то дрожа от страха, подала ее Филемону. Их руки слегка столкнулись. Ей показалось, что он сейчас ударит ее, показалось, что в руке его лежит острое, вспотевшее, чем он сейчас перережет ей вены. Она быстро отступила и заискивающе улыбнулась. Татьяна подхватила Аленушку и побежала умывать ее на кухню. Филемон протянул ей обратно ненужную тряпку. «Эхе-хе, эхе-хе, – пробормотал он и, уже не прячась, погрозил ей маленьким острым ножом. – Эхе-хе-хе, Евгений Васильна...»

Ночью она почти не спала. Вставала, подходила к окну, смотрела на скользкую, еле держась на небе, переполненную соком луну. На громко храпящего Филемона боялась даже оглянуться. Казалось, что, несмотря на громкий храп, он наблюдает за ней из темноты. Под одеялом было немного спокойнее. Одеяло было защитной крепостью. Но как только она заворачивалась в него, глаза сразу же начинали слипаться. А спать было нельзя. Филемон только и ждал, чтобы она заснула. Для чего? Она и сама не знала. То ей начинало казаться,

что он не только не убьет ее, но, напротив, полезет к ней ласкаться («Сказал: поженюсь – и поженился», – вспоминалось ей), и надо будет тихо лежать под тяжестью его большого мохнатого живота, то казалось, что он выгонит ее на улицу, чтобы она сторожила их дом вместо цепной собаки (какое-то воспоминание, связанное с цепной собакой, мучило ее, но она не понимала какое), то – и это было самое страшное – она почти чувствовала прикосновение его маленького острого ножа с налипшими на нем волосками...

На рассвете она надела халат и начала беззвучно бродить по дому. Вошла в детскую комнату. Вместо Аленушки на кровати лежала мертвая разбухшая кукла и притворялась спящей. Кукла не хотела превращаться обратно в человека, не хотела расти, потому что знала, что ее ждут одни несчастья и насмешки. И она, ужасаясь, пожалела ее и погладила по холодной голове своей закапанной старческими коричневыми пятнами рукой. Потом крадучись поднялась вверх по скрипучей узкой лестнице, остановилась перед дверями, за которыми спали Татьяна и приехавший вечером на электричке аккуратный несговорчивый зять. Сначала ей слышалось хрипенье. Потом тихий булькающий звук женского горла, напоминающий плавное «рл-нрл-рл-нрл». Она поняла, что зять душит или уже задушил Татьяну, но ей было страшно вмешаться, и она решила еще постоять и послушать. «Рл-нрл-рл» прервалось, и кто-то закричал Татьяниным голосом. Слов она не поняла, хотя Татьяна произносила их очень отчетливо. Зато тихие ответы зятя не только разобрала, но и сразу почему-то запомнила. «С любой в принципе женщиной можно получить физическое удовольствие, – раздельно произнес зять и что-то перекусил, щелкнув зубами. – В принципе, я считаю, с любой. Но можно ли с любой женщиной остаться жить семейной жизнью – это большой и большой вопрос. Принципиальный, я считаю». И он опять что-то перекусил. Татьяна гулко крикнула в ответ. «Я в принципе не собираюсь уходить от этого разговора, – продолжал зять. – Потому что время само за себя говорит. И если я буду уверен, что в моем доме весь порядок будет подчиняться моим принципиальным требованиям, то я готов хоть завтра начать думать по поводу этого решения. – Он еще немножко подушил ее, потому что Татьяна опять хрипнула. – Мы в принципе можем расписаться, если этот шаг не отзовется в моей жизни беспорядком или неповиновением».

Из Татьяниного горла полилось «рл-нрл-рл», и тогда зять сказал: «Согласен», и они оба замолчали.

Не выдержав, она тихонько приотворила дверь, заглянула в образовавшуюся щелку. Зять с висящей на боку длинной прядью волос, которую он днем зачесывал через голову, чтобы закрыть лысину, лежал на бескровной, худой Татьяне и несильно душил ее, то приподнимаясь, то опускаясь. Ее приближения они не заметили и, голубовато-бледные от наступающего утра, продолжали свой разговор. Все это вызвало у нее смешанное чувство ужаса и отвращения, хотя в глубине души вспомнилось, что когда-то она сама желала, чтобы Татьяна и этот человек вот так лежали по ночам в прибранной ею комнате. Сдерживая громкое дыхание, она спустилась вниз, забралась под одеяло и крепко заснула.

Проснувшись очень скоро, лихорадочно вскочила, нагрела на кухне ведро воды и пошла за сарай, в глухие крапивные заросли. «Вот здесь и помоюсь», – сказала она себе и начала торопливо раздеваться. Раздевшись догола и распустив по плечам жидкие пегие волосы, она начала осторожно поливать себя водой из темно-синей в белых крапинках кружки. Вода была слишком горячей, и все ее тело покрылось мурашками. Потом взяла кусок хозяйственного мыла, быстро, крепко намылилась и опять зачерпнула воды из ведра.

– Женья! – слышался где-то совсем близко дребезжащий голос Филемона. – Евгений Васильна! Ты куда запропастилась?

Она в ужасе опустилась на корточки, вжала голову в задрожавшие колени. Лопухи и крапива скрывали ее от него. Земля закачалась от приближающихся шагов. Филемон шарил в траве большой палкой с тяжелым медным набалдашником, разыскивая свою Бавкиду. Бав-

кида, раскорячившись, сидела на земле в сизой пленке хозяйственного мыла. Зубы ее стучали от страха. Она поняла, что он зашел за сарай и сейчас увидит ее. Тогда она беззвучно сказала себе: «Спаси и пронеси, Господи!» – и отползла прямо в крапиву, не чувствуя ожогов. В пяти шагах от нее стоял маленький лиловый Филемон в летней белой панамке, белой ночной рубашке и туфлях на босу ногу. Он не видел ее своими мутными больными глазами.

– Женья! – пробормотал он, волнуясь. – Да куда ж она подевалась!

Потом он снял со стенки ключ и начал открывать сарай. Она вспомнила, что это был лагерный барак, а никакой не сарай – что сарай это просто так, для отвода глаз, чтобы дачные соседи не приставали с расспросами, а на самом деле они только что приехали в Узбекистан из Москвы и Филемон заступил на место начальника женского лагеря. Она вспомнила, что осталась одна с только что родившейся Ларисой, что у нее пропало молоко за время переезда, что она нагрела воды в большом чугунном чане, потому что Ларису надо искупать и самой помыться. Дом, который для них предназначался, был еще не готов, и поэтому они поселились временно в маленьком, летнем, свалив все свои чемоданы прямо в угол. Филемон уже распорядился, чтобы того, кто был ответствен за их прием и жилье, как следует «пропесочили», и велел ей перетерпеть несколько дней. Приехали они вчера, она измучилась от криков голодной дочери, от мигрени, которая, бывало, наваливалась на нее и не отпускала по целым неделям. Их встретили на станции, повезли в дом к какому-то жирному, словно перевязанному невидимыми ниточками поперек жира, узбеку, там усадили на пуховые перины прямо на пол, кормили жирным пловом, поили вином и горячим чаем, узбек улыбался улыбкой, похожей на опрокинувшийся месяц, и на груди его торопливо звенели медали. «Да-а, – ложась спать, сказал ей Филемон, растягивая в зевоте бульдожью челюсть. – Да-а... Наведу я им здесь порядок. Распоясылись...»

Он постоял еще немного, пошарил палкой. Потом снял свою панамку и вытер ею глаза. Она никогда не видела, чтобы он плакал.

– Женья, – всхлипывая, сказал Филемон. – Ты где? Что ты меня пугаешь? – Подбородок его мелко задрожал.

Она поняла, что он притворяется, желая вытащить ее из крапивы. «Нет уж, хватит, – пробормотала она самой себе. – Нет уж, ты у меня покрутишься...»

Филемон повернулся и, всхлипывая, ушел в дом будить Татьяну и зятя. А она, пригибаясь, переползла к той части забора, где была большая, заставленная фанерными щитами дыра, и вырвалась на свободу. Прямо за забором начинался еловый лес.

«У меня никто не убежит, – сказал Филемон и стукнул по столу волосатой рукой. – Здесь лесов нет! Бежать некуда! Чтоб завтра были на месте!» Она, переминая посуду, одобритительно кивнула. Филемон «песочил» стоящего перед ним угреватого человека в форме. Обжигаясь, ел приготовленный ею борщ – хороший, густой, кровавистый борщ, в котором плавали кусочки желтого жира. Человек в форме смотрел в его тарелку злыми, затравленными глазами. «Понял меня? – прохрипел Филемон, опрокидывая в рот рюмку и переводя дыхание, словно он только что вынырнул со дна реки. – Все! Можешь идти». Она вытерла руки чистым полотенцем, подседа к нему: «Кто убежал-то, Ваня?» – «Две суки. Еврейка одна и русская. Вчера еще. Найдут. Ну, уж я их пропесочу! Запомнят меня! – Его ясные голубые глаза навывкате налились кровью. – Ну, уж запомнят!» Ребенок заплакал в соседней комнате. Она пошла туда и вернулась. «Зубик-то ты наш видел? – пропела она. – У Ляли второй зубик прорезался!» – «Ишь ты, – одобрительно хмыкнул Филемон и потрепал ее по руке. – Зубик, говоришь... Поглядим...» Они постояли над детской кроваткой, полюбовались на маленький беличий зубик в детском ротике. «Ишь ты... – повторил Филемон и нахмурился. – А одна-то из этих стерв брюхатая ушла. Беременная, мне доложили. На шестом месяце». – «Ну? – удивилась она. – Ребенка, значит, даже не пожалела. Сама пропадет и его погубит. Мать тоже мне!» – «Пойдем, Женья, прокатимся! – зевнул Филемон. – Заворачивай девку.

Ветерком подышим!» Он сидел впереди, рядом с шофером. Она сзади. Степь была покрыта темно-красными маками, горела огнем. «Ишь ты, – сказал он, оборачиваясь к ней и улыбаясь во всю ширину челюсти. – Помнишь, как в Большом в царской ложе сидели? Такой же вроде цвет...» Ночью он навалился на нее своим сытым мохнатым животом. Она угодливо, боясь разонравиться ему, притворно-радостно задышала. «Ты моя чернушечка, – засыпая, пробормотал он через несколько минут. – Ишь ты... Убью сук. Сказал – и убью. На дереве повешу. Распоясылись...»

К полудню ее нашли и привели домой. Она покорно вышла из леса – голая, вся в багровых крапивных ожогах, безжизненно опустив свои большие, плоские от работы руки. Зять с одной стороны и веснушчатый милиционер – с другой нерешительно подталкивали ее к калитке, и милиционер, хмурясь, делал неловкие движения, стараясь как-то заслонить ее, хотя, по счастью, именно в этот момент на аллейке никого не было, кроме прислонившейся к забору бескровной Татьяны, которая при виде матери затряслась, как в ознобе, и стала стаскивать с себя кофту.

– Тут такое дело, – сказал, хмурясь, милиционер, не глядя на Татьяну. – Тут, я понимаю, медицинская помощь нужна. Дом для умалишенных. Или еще что-нибудь. Но мы тут вам не подмога.

– Мама, – прыгающими губами выдохнула Татьяна. – Ты чего?

– Незачем в принципе задавать ненужные вопросы, – отчетливо сказал зять и разо-
злился. – Нужно ввести ее в дом.

Она услышала то, что он сказал, и затрясла головой.

– Сама войду, сама войду, – залопотала она. – Обедать пора, сама, сама...

Поддерживаемая Татьяной, поднялась по ступенькам террасы и в дверях увидела Его. Толстый, испуганный Филемон глядел на свою голую, растрепанную, в красных пятнах по всему телу Бавкиду и пятился, оседая и закрывая лицо волосатыми руками. Бавкида подавилась от ужаса и чуть не упала. Зять и Татьяна подхватили ее.

– Папа! – истерично крикнула Татьяна. – Дай ей одеться! Дай что-нибудь! Нельзя же так!

– Сейчас, сейчас, – засуетился Филемон, оседая и пятясь. – Что же это такое, батюшки мои!

Он стащил с вешалки какой-то старый плащ и осторожно, боясь дотронуться до голой старухи, передал его дочери. Татьяна дрожащими руками натянула на нее плащ и, плача, сказала:

– Что делать-то будем?

– Увезти, увезти, – испуганно задрожал Филемон. – Как же так? Лечиться надо. Врачи, они свое дело знают... Лечиться надо... А то что же... Заболела наша бабушка... Беда-то...

Вдруг Бавкида упала на колени перед Татьяной. Зять не успел подхватить ее.

– Служить вам буду. Ноги твои мыть буду. Не прогоняй.

– Ма-а-ма! – разрыдалась Татьяна. – Господи! Иди в комнату, ложись. Спи. Мама!

Стуча зубами, она вошла в комнату и, не снимая плаща, забралась в постель. «Сплю, сплю, – забормотала она. – Непорядок какой... Сплю».

Филемон плакал и вытирал трясущиеся бульдожьих щеки седыми кулаками.

– Ты уж тогда меня-то отвези в город, – умолял он Татьяну. – Или уж вы, Борис, окажите милость, помогите до Москвы престольной добраться. Я с больным человеком в одном доме не могу находиться. Мне вид ее может спазмы сосудов вызвать.

– Папа, – рассудительно говорила взявшая себя в руки Татьяна. – Горячку не надо пороть. Понаблюдаем ее пару дней. Я все равно здесь. Боря здесь сегодня и завтра. Жалко же. Может, это минутное помешательство, возрастное.

– В принципе, может такое быть, – подтвердил зять. – Мне говорили, у нас в отделе у одного товарища был такой же эпизод с теткой. Прошел в принципе бесследно...

2

«Можно я, Ваня, дома останусь? – прошептала она сквозь сон. – Дети нездоровы, и я какая-то...» – «Нет, – ответил Филемон. – Нельзя. Обязана быть на концерте. Все начальство будет. И чтобы без фокусов».

Зал был переполнен. Они сидели в первом ряду. На сцене, украшенной флагами и цветами, в три ряда стояли женщины в белых халатах. Во сне она вспомнила, что это было особой гордостью Филемона, его изобретением: шестьдесят новых больничных халатов доставили в лагерь за неделю до концерта. Мертвые женщины, одетые для погребения, во всем белом и чистом, разевая гнилозубые рты, пели громкими голосами: «...и танки наши быстры...» Филемон морщился от удовольствия, хотя нижняя половина его лица сохраняла свое обычное свирепое выражение. Допевшие песню покойницы по команде повернулись налево и, шаркая ногами в войлочных больничных тапочках, пошли за кулисы. Зал зааплодировал. Потом на сцене появились три другие женщины, не участвовавшие в пении, в тех же белых халатах, с большими маковыми венками на головах, отчего казалось, что из волос у них рвется пламя, и вручили приехавшему начальству огромную вышитую подушку с красным шелковым обещанием посередине: «Честным трудом на благо Родины заслужим прощение партии и народа!» Сон прятал от нее того, кто вместе с Филемоном поднялся по ступенькам. Она ощущала только само слово «начальство», и постепенно ей стало казаться, что Филемон поддерживал волосатыми пальцами шершавое и темное, в скрипящих сапогах, не имеющее ни лица, ни тела. Начальство протянуло что-то вместо руки, чтобы взять подаренную подушку, и тут одна из покойниц с красным огнем в волосах плюнула ему в лицо. «Сволочь! – кричала покойница, которую уже уволлакивали, торопливо, на ходу избивая. – Сволочь!» Ей зажали рот, но она успела еще выкрикнуть сквозь кровь и пену: «Пропадите вы все пропадом! Сволочь». Страшно было смотреть на Филемона, сидящего рядом с ней в первом ряду и ждущего окончания концерта. Каменный и неподвижный, он уже не аплодировал, не морщился. Зубы его тихонько скрипели. Потом повернул на нее невидящие глаза: «Домой поедешь одна. На ужине тебе делать нечего». – «А ты?» – кутаясь в плащ, натянутый Татьяной на голое, обожженное крапивой тело, прошептала она. «Что я? – переспросил Филемон и сжал бугристый черный кулак. – У меня дела есть».

В доме хорошо и вкусно пахло пловом, виноградным вином, свежим хлебом. Старуха-узбечка, из местных, поклонилась ей, шепотом сказала, что дети давно спят. Она сбросила на ковер надоевший плащ, вытянулась на кровати, закрыла глаза. Ночью пришел Филемон. От него резко, удушливо пахло потом. «Ну, – спросила она и села на перине. – Нашли Аленушку?» – «Приказываю расстрелять, – ответил Филемон и раскрыл в зевоте тяжелую челюсть. – Саботаж в пользу иностранной разведки. Враг действовал в условиях лагеря. Распоясылись... – Он поставил к стенке новые блестящие сапоги, почесал под рубашкой живот: – Запомнят меня, так-то...»

– Как она проснется, ты меня предупреди, – трусливо прошамкал Филемон и спрятался за большой, голубой в красных цветах чайник. – Не могу ее видеть. Пока не убедимся. Нет уж, дудочки... Болезнь болезни – рознь... Умереть не дадут спокойно... Что за дела?

Татьяна подошла и наклонилась над ней. На Татьяне был белый больничный халат. Маки в волосах давно почернели и высохли. Запах плова и свежего хлеба шел от ее наклонившегося тела.

– Мама, – сказала Татьяна. – Лучше тебе?

– Аленушка-то где? – вдруг схитрила она, вспомнив, как зовут ту маленькую женщину с бантом в голове. – Полдничать пора. Скажи, чтобы ей ягод нарвали. – При слове «ягоды» ее

слегка затошнило, но она справилась, виду не подала. – Скажи, чтобы нарвали, а то я на вас всех жаловаться буду. Есть куда, слава богу. Не в пустыне живем. Голодом мучаете ребенка...

Татьяна испуганно вздохнула и вышла на террасу. Филемон и зять посмотрели на нее.

– Лучше, – неуверенно сказала Татьяна. – Поспала. Приходит в себя.

– На все время нужно, – согласился зять. – Конечно, мы вас с потерявшим рассудок человеком не оставим. Хотя в принципе это немалые хлопоты...

Ночью она проснулась и поняла, что это последняя ночь перед свадьбой. Завтра они поженятся. Руки у него железные, крепкие. Когда он пару дней назад схватил ее за грудь, она еле перевела дыхание от боли. Что же, мужчина. Они все такие. За этим, по крайней мере, как за каменной стеной. Боль и потерпеть можно. В деревне у него мать и сестра. Сам до всего дошел, сам образование получил. На таких земля держится. И власть советская. И все, чего мы добились, на таких держится. А грудь так просто не оторвешь. Она засмеялась в темноте. Посидела, подумала. И вдруг поняла, что ей надо сделать. Завтра он проснется и первым делом выпьет свой кефир, купленный на станции. Каждое утро он пьет кефир со смородиной. Это до завтрака. Потом уж они завтракают вместе. Аленушку кормят в четыре руки, в две глотки. Песни и сказки – до хрипа. Так вот в этот кефир лучше всего и высыпать. Сразу высыплю, никто не догадается. И никакой свадьбы. Татьяна с Аленушкой проснутся, все уже сделано, завтрак давно на столе. А он ушел. Куда ушел? Откуда я знаю? Ушел, и все. До сих пор грудь ломит. Вот ведь какой грубый. Зато жизнь прожили – дай бог всякому. А высыпать все-таки надо. Потому что страшно. Главное, что страшно. Придет и опять схватит. Ночью разденется догола и навалится. Опять рвота, роды. Страшно. Стараясь не скрипеть дверью, она вышла на террасу, нежно освещенную переполненной соком луной. Взяла стеклянную тоненькую розетку для варенья. Молоток из тамбура. Вышла на лестницу. Разбила розетку молотком. Никто и не услышал. Спит. Хорошо. Она принялась тихонько колотить по розетке молотком, стараясь измельчить разбитые куски. Узбеки любят этот способ. Легко, чисто. Как кровь пойдет из живота, так уже все. Она собрала расколотое, зажала его в кулаке, вернулась на террасу. Открыла дверцу битком набитого холодильника. Всыпала осколки в масленку. Закрыла ее крышкой. Вытерла руки и заодно поменяла у домохозяйки полотенце. («Вот уж Татьяна неряха!») Вернулась в комнату, в которой его не было (шелковая застеленная кровать мерцала пустотой), завернулась в одеяло и заснула.

«Какой отец! Какой отец! – пела она своей матери, разворачивая свертки с подарками. У матери от жадности горели глаза. Руки тряслись. Мать была запугана, труслива, лицемерна. В детстве она боялась ее до тошноты и, став взрослой, никогда не советовалась с ней и никогда ничем не делилась. – Все для детей! Все для детей! Татьяна хочет балетом заниматься. Другой бы отец – знаешь как? Цыкнул бы: какая из тебя балерина! Выбрось дурь из башки! А этот: на здоровье! Поступишь в училище Большого театра. Пляши, пока не надоест! Все для детей!» Мать схватила дрожащими руками отрез серого габардина. «И это мне?» – расплылась она в такой же кривой и фальшивой улыбке, которой улыбалась ее дочь, желая сказать кому-то приятное. «Все тебе. Все он. Так и сказал: уважить надо. Сам все отбирал. И обувь, и теплое. Так и сказал: Нине Тимофеевне с уважением от родного зятя. Ха-ха-ха! Видишь, какой?» Мать трясла скользкой головой: «Конечно, Женя, конечно. Вы, понятно, на какой службе были... Тяжело, думаю. Не всякого пошлют. Только самых достойных. Кристальной души людей. Понятно, понятно. Климат-то там какой? Погода какая?» – «Жарко, мама, очень. Летом очень уж жарко. Но дом у нас был чудесный. Две террасы, сад фруктовый – свой. Весной красота такая, что глазам больно: маки кругом, вся пустыня, все холмы в маках. Так и горят. Чудесно. Я с детьми. Нянька была, женщина приходила через день, полы мыла. Еще одна приходила готовить. Все местные. На концерты, в театр мы в город ездили. Шофер свой, машина. Я тебе говорю – все». Мать завистливо свистела тонким пупырчатым горлом: «Ну-и-и! А меня спрашивали: как там ваша дочка после столицы в

таких местах? Я говорю: все в порядке, все хорошо, а у самой душа болит: как ты там, думаю. Одна все-таки. Двое детей. Иван занят поди целый день». – «Занят – это правда. Целый день занят. С преступниками же дело имели. Разве о себе вспомнишь? Страшные люди. Враги. Но Ваня всегда был гуманен. Ни одного несправедливого поступка. Дисциплина. Потому что ведь они тоже люди. Ведь они на исправление посланы. Мы надеялись, что в них совесть проснется. Мы старались».

Маленький восковой Филемон постучал в комнату Татьяны. Она открыла ему в нейлоновом халате с кружевами, заспанная.

– Папа, что ты не спишь? Вы меня с ума сведете!

– Понимаю, понимаю, – забормотал Филемон. – А все же хотелось бы в город попасть. Глаз не сомкнул. Боюсь. С умственно неполноценными дела не имел. Отродясь. С бандитами – да, с преступными элементами, но со здоровыми. А здесь глаз не сомкнул.

– Господи! – завелась Татьяна. – Ты себя послушай! Она тебе кто? Чужая, что ли? Вы же жизнь прожили!

– Да это кто вспоминает, – задрожал Филемон и переступил ногами в больших желтых тапочках. – Прожили, прожили. Всяко было. А что же мне сейчас в жертву ее болезни остаток дней приносить? Не для того я кровь проливал, да... На самых тяжелых участках. Жизнь прожили. Кто его знает, как мы прожили?

– Ты никак заговариваешься? – ужаснулась Татьяна. – Папа! Ну, хоть жалость-то в тебе осталась? Ты посмотри на нее!

– Жалость, жалость, конечно, – скороговоркой выдохнул Филемон. – Меня всю жизнь никто не жалел. Все для других. Все для вас. Теперь имею право на отдых. Она меня, может, зарезать хочет. Кто знает, что больному человеку в голову придет?

– Да какое зарезать! – зашаталась Татьяна. – Ее пальцем тронешь, она падает!

– Именно, именно, – прошамкал Филемон и жарко задышал ей в лицо зеленым луком. – Мне сон был. Именно что зарезать. Чужая душа – потемки. Беда. Отвезите меня в город.

– Оставь меня! Что ты меня будишь посреди ночи! – Татьяна захлопнула дверь перед его носом.

Зять приподнялся с подушек. Длинная прядь свисала с лысой головы:

– Это же не дом, а сумасшедший дом, если разобраться! И если вы думаете, что я при своей нагрузке могу тянуть еще и это... Очень сожалею, но вынужден поправить...

...Она слышала, как они возятся где-то, ходят по лестнице, шепчутся. Очень хорошо. Теперь они будут ее бояться. А то что же это такое: все спихнули на одного человека. И воду носи, и детей воспитывай, вечером в Большом театре надо быть. Сам товарищ Сталин придет. В царской ложе все и рассядутся. У Филемона, как назло, выскочил ячмень. Прямо перед балетом. Он даже зарычал от злости. «Ваня, – говорю, – Ваня! Это же не преступление! У всякого может случиться!» Он чуть не с кулаками: «Понимаешь свиную пятницу! Товарищу Сталину на глаза с таким рылом показаться!» Ячмень смазали яичным белком, припудрили немного, чтобы не так заметно. Все равно глаз – как машинная фара. Она не любила украшений. Но Филемон велел надеть ожерелье. Она согласилась. Пусть так, как он хочет. Платье малиновое, ожерелье белое. Откуда он его принес? Не сказал. Ожерелье странно пахло. То ли телом чужим, то ли каким-то деревом. «Почему у тебя-то усы? – вдруг разозлился Филемон. – Ты кто: мужик или баба?» Она посмотрела в зеркало: действительно – усы. Вот здесь две волосинки и здесь одна. Как же это они выросли? Она и не заметила. Выдрала щипчиками. Когда товарищ Сталин вошел в ложу, они все встали. У Филемона глаз с припудренным ячменем налился слезами, подбородок задрожал. Вот ведь как мужчины умеют чувствовать. Разве по нему скажешь? Отец-то заботливый, и муж... Мало сказать «заботливый», сюсюкать не любит, а все в дом, все в семью, ни на одну женщину никогда и не посмотрел...

«Ты меня завтра ночевать не жди, – сказал Филемон. – Мне надо по лагерям проехать. Ревизия. Нелады там, я слышал. Порядка нет». Уехал. В доме хорошо, чисто, виноградным вином пахнет, хлебом. Ночью духота. Она все с себя сбросила, даже простыню. Спокойно, привольно. Никто пальцами по ней не шарит, никто не храпит в шею. Он вернулся через три дня веселый. Лицо, правда, усталое, помятое. Пообедал и завалился спать. До нее даже не дотронулся. На следующий день опять как сквозь землю провалился. И через день то же самое. Возвращался помятый, веселый, свирепый. На нее, на детей – ноль внимания. Стала стирать ему рубашку – вся в женских волосах. Светлые, как паутинки. Она ничего не сказала, сделала вид, что так и надо. Мужчина. Они все такие. Этот-то хоть первый раз сорвался. А то все работа, все семья. Пусть покуражится. Добрее будет. Хотя, конечно, душа заныла. Она ее стиснула руками, выжала, выкрутила, как тряпку, ни слезинки. Пусть его. Куда он от меня денется? Лариса, Татьяна. Что, он нас на лагерницу какую-нибудь променяет? Так и не узнала, чьи были те волосы. Месяца два он возвращался домой поздно, до нее не дотрагивался. Ну и хорошо, хоть тело отдохнуло. Потом опять навалился с неохотой, молча. Наладилось постепенно. Все как всегда. Их разве переделаешь?

Пойдем на рынок, Аленушке ревения купим, тебе ревения купим, мне ревения купим. Аленушке-то зачем ремень? А что же такого? Это она сейчас маленькая, а когда вырастет? Тоже будет с желудком мучиться. Пусть ремень полежит про запас. Вон какая дивчина вымахала, скоро свататься будут. Эхе-хе-хе... Борис этот какой-то непонятный. Женится – хорошо, а не женится – еще лучше. Это я вам по секрету. Татьяну уж очень жалко. Она у нас только на вид такая суровая. А сердце слабое. Роды были поздние, сколько крови потеряла, кесарево сделали. И боится она этого Бориса, как огня боится. Он и по неделям может не звонить. Очень занят. Конечно, такая работа, что не расслабишься, не до гулянок. Хотя о ребенке мог бы подумать. Нельзя же все на одного человека. Это сейчас Филемон стал так ластиться: «Женя, Женя, давай прислугу найдем, что ты все одна», а раньше, бывало, как рыкнет: «А ну, поворачивайся! Ишь ты, барыня! Мы всех бар давно вырезали!» Она слова поперек – никогда. Говорили же про Булдаева, что он жену своими руками повесил. Надоела, и повесил. Пост такой занимал, что никто и не пикнул. Самоубийство на почве болезни мозга. Не справилась женщина. Может, и так. А слухи ходили разные. Филемон тоже как-то на нее разозлился и заорал: «Удавлю своими руками!» Она, конечно, посмеялась... Мужчина. Они все такие. Только бы покуражиться...

– Ты же хотел остаться сегодня, – умоляюще сказала Татьяна. – У тебя же отгулы...

Зять шумно втянул кофе в длинное узкое горло.

– Сегодня не получится. Вся эта неделя забита в принципе. Но если что... Я буду ждать сообщений. Конечно, если что... Я пришлю машину.

У Татьяны вздрогнул бульдожий отцовский подбородок:

– Ты извини, Боренька, что так вышло... Старые люди...

– Да, – согласился зять. – Жуткое дело – эта старость. Хоть бы средство какое придумали... Принципиально бы легче стало. Где она? В комнате?

– Спит, – вздохнула Татьяна. – Я решила не входить пока. И отец спит. Наглотался валидола.

– Что ему ночью-то не спалось? – пробормотал зять и опять втянул кофе. – Струсил, что ли?

– Ах, не спрашивай! – помрачнела Татьяна, и по ее бескровности побежали красные полосы. – Как подумаю, до чего они дошли! Ведь ты вспомни, как они жили! Рука в руку, душа в душу. Не знали, как друг другу угодить. Слова грубого не слышали...

– Да, – опять согласился зять. – Жить бы так всем. Что называется, пара.

Тут она и вышла из спальни, семена ногами и слегка приседая от сахарной улыбочки. Плаща на ней не было, было платье с белым воротником, праздничное. Зачем только

такое платье и привезли на дачу? Сдуру, должно быть. Но вот и пригодилось. Волосы она не успела причесать, так и болтались, пегие, по плечам. А туфли надела. Татьяна ахнула:

– Мама!

– Что – мама? – заулыбалась она, пряча страх. – Я тебе уже сорок лет мама! Ха-ха-ха! Поспала и думаю: пора за дело! А то так всю жизнь проспичь! Обед-то готовили на сегодня?

Зять и Татьяна переглянулись. Она неторопливо под села к столу. Налила себе чаю дрожащими руками. Главное, чтобы они не поняли, как она боится. Спросить бы про него: жив ли? Она заулыбалась пуще:

– А вы, Борис, никак удирать собираетесь? Жаль, жаль... Погода такая... Сходили бы на речку, рыбу бы поудили.

От слова «речка» тоже стало не по себе. Вода ведь: бросят туда ночью, в темноте, что потом кому докажешь? Отхлебнула чаю, поморщилась: невкусно. Компот надо варить. Ревеня туда побольше, смородины, крапивы. Кисло, густо, чтобы ложка стояла. Не умеет у меня Татьяна готовить, вот он на ней и не женится.

Зять кашлянул нерешительно:

– Ну, я так понимаю в принципе, что основная опасность миновала. Могу спокойно тебя оставить. – Он быстро поправил непокорную прядь, облизнул губы с налипшей икринкой. Портфель в руку – и уже у калитки. Так и след простыл.

– Пойду Аленушке грибов нарву, – лицемерно сказала она. – Или малинки лесной. Я тебе всегда, Таня, говорила: небо и земля – наша малина и лесная. Там и вкус, и аромат, все другое, никакого сравнения. Витамины.

– Мама! – рванулась было Татьяна. – Не ходи! Ты же слабая такая! И что-то с тобой еще... Ну, не ходи!

Спросить бы ее, спросить бы: жив ли он? А то чего зря прятаться? Может, его уже и закопали? Так я тогда платье сниму, туфли сброшу, будем обед варить. А если жив? Нет уж, рисковать не хочется. Это по молодости только тянет: рисковать. А уж в наши-то годы, эхе-хе-хе... Отставила чашку, сказала разумно:

– Ладно тебе, Таня. Я вас с Лялей вырастила, Аленушку тебе выкормила, что ж ты меня теперь за дуру считаешь? Погулять по лесу нельзя? – И пошла по лестнице, замирая от ужаса, потому что пришлось повернуться к запертой двери в его спальню спиной. Проходя мимо куста смородины, смахнула червяка с ветки (все ягоды пожрали, ребенка кормить нечем!). У калитки обернулась: он стоял в дверях и смотрел на нее. Рот его был открыт, глаза мутные (капли-то забыли!), белая ночная рубашка, босой. Она прикинула: бросится догонять или нет? Да куда ему! Ноги корявые, неловкие. Она успеет убежать. Так что вот теперь я и позабавлюсь: помашу ему рукой: «Здравствуй, Ваня! Доброе утро!» Она помахала Филемону дрожащими пальцами.

– Куда это она? – просипел Филемон, хватаясь за Татьянино плечо. – Куда она пошла-то?

– Погулять, – тихо сказала Татьяна. – Ягод хочет нарвать. Ей лучше.

– Доченька! – захлюпал Филемон. – Ты у меня одна на свете! Сделай милость: увези!

– Говорю тебе: ей лучше! Погулять пошла! Завтракать садись!

Через два часа бросились искать: Татьяна и две сердобольные соседки. Прочесали весь лес. Нету. Татьяна побежала в милицию, история повторилась. Нашли в осиннике и привели. Она прижимала руки к сердцу, оправдывалась: «Да что вы, ей-богу! Погулять нельзя! Мне доктор велел дышать лесным воздухом!» Соседки только плечами пожимали: «Вы глядите, Таня, а может, и правда ничего такого? Ну, устала ваша мама на кухне пахать, ну, хочется ей расслабиться! Что вы с ума-то сходите?» – «Вот и я говорю! – смеялась она. – Не дают мне подышать! Всю жизнь на мне ездят! Уж, кажется, перед смертью-то имею право! Погулять-то имею право?» Татьяна смотрела на нее сжимающимися и разжимающимися зрач-

ками: «Ты меня разыгрываешь, что ли? Что с тобой?» – «Да говорю тебе человеческим языком: ничего! – отмахнулась она. – Устала я на кухне пахать! Тебе и все то же самое скажут! Дай ты мне проветриться!» Татьяна не выдержала, заплакала: «Мама! Пожалей меня! У меня голова кругом идет! Ты в себе или нет?»

Хорошо, что она проста, ничего не поймет. Пусть считает, что мне погулять хочется. У нее мозги всегда были какие-то дырявые. В науке умна, а в жизни хуже младенца. Ее-то я обведу вокруг пальца, лишь бы она уехала, лишь бы нас с ним вдвоем оставили. Я его сама и закопаю. Все равно, пока все в свои руки не возьмешь, ничего не получится. Кто кого. Убежать не дали. Выход один. Тоже страшно, конечно. Зато это уж самый последний страх. Еще попугаюсь немножко – и свобода.

«Нет уж, дудки! – хохотал Филемон. – Ты мне свою племянку не подсовывай! У меня баба – во! На большой палец! Женился – и как в раю! Уважение полное. Скажу: ноги мой – и будет мыть! Нет! Такую поискать! Вот она приедет через недельку, и милости просим! Убедись сам. Зверь-баба!» – «Как звать-то?» – спросил наполнивший стаканы холодной прозрачной водкой, в расстегнутом на груди френче. – Скажи, как звать, и выпьем за твою бабу!» – «Женей, – ласково прохрипел Филемон. – Такая чернушечка, кошечка такая, крепышечка...» – «Ишь, тебя скрутило, – усмехнулся слушатель. – Никогда за тобой такой нежности не знал...» – «Какая нежность?» – удивился Филемон и опрокинул в рот стакан. – Нежность, говоришь... На нашей работе нежничать не положено. Я на этих баб насмотрелся, сам знаешь! Пять лет в начальниках проторчал. И голых, и всяких. Они при мне мыться были обязаны, если захочу, во как! Для порядка! Я ж как врач! Лечу их, сук, к жизни возвращаю!» – «Ну, и как?» – скривился приятель. – Мылись? Для порядка?» – «А чего? Конечно, мылись! Мылись-вытирались, не сопротивлялись!» – «Соскучишься ты без этой работы!» – «Да нет, уж хватит, – помрачнел Филемон. – Поважнее есть дела на свете. Раз партия посылает, мое дело подчиниться. А Женя за мной – как лошадь за хозяином. Беру за повод и веду. Вот как...»

Не справлюсь я с ним, ни за что не справлюсь. Плохо. Он ведь все притворяется. И то, что старый, и то, что больной. Никакой он не старый. Если тогда не умер, то уж никогда и не умрет. Будет мучить. Ноги свои заставит мыть. Сначала Аленушку искупаю, а потом в этой воде (не греть же лишний раз!) буду ему ноги мыть. Вот и стекло не подействовало. Мало наколола. Но теперь уж не исправишь. Молоток спрятали, розетки спрятали. Уходить пора. Жили люди в лесу, еще как жили! Целыми семьями, с детьми. Обживусь – и Аленушку с Татьяной к себе возьму. Маленькие мои дочки. Родила, выкормила. Обживусь и заберу от него. А то он их еще в этот барак спрячет. Скажет: «Поработайте-ка! Распорядились... Не будет вам никакого театра. Никаких таких балетов».

Она тихо натянула платье. Сняла наволочку с подушки, положила в нее резиновые галоши, батон хлеба, мыло в мыльнице. Кажется, все. Это на первое время. Там уж люди помогут. Здесь, конечно, лесов нет, но маки погуще всех лесов будут. Спрячусь в маки, а там видно. Узбеки нас любят. У них здесь до советской власти такое было! Каменный век. Она спустилась с лестницы, держась за перила. Лунный свет напoлз на ее лицо. Небо серело в ожидании рассвета. Ей вдруг захотелось поцеловать Аленушку. Она положила наволочку на ступеньку, бесшумно вернулась в комнату. Аленушки нигде не было. Она попыталась вспомнить, куда же ее могли уложить спать, и запуталась. В боковой комнате он, наверху Татьяна. Где же Аленушка? Неужели с ним? Господи, Господи! Она мелко закрестилась непривычными пальцами. Ведь он притворяется! Как же Татьяна не понимает? Она постояла в темноте, переминаясь с ноги на ногу. Ну, в другой раз. Прощайте.

Сон в летнюю ночь

Она ненавидела свое имя – Роза. Но и английский вариант – Роуз – ей не нравился. Тогда она стала Рейчел, и это сухое острое слово с решительным «й», переходящим в темное беспокойное «ч», прекрасно соединилось с ее подвижным телом, тонкой талией и короткой стрижкой. Оно, это имя, стало частью ее глуховатого смеха, ослепительных черных глаз, всегда невеселых, с застывшим во глубине их страдальческим гневом, длинных и густых черных бровей, яркость которых – вместе с ослепительными глазами – делала лицо почти мраморным. С того дня, когда она вместе с двумя детьми – двухлетним мальчиком и четырехлетней девочкой – приземлилась в нью-йоркском аэропорту и Олег Васильевич стоял в первом ряду встречающих, молодцевато напружинившийся, с огромным букетом только что вынутых из морозильника, запеленатых роз, взволнованный и красный, в майке, на которой была нарисована фрачная «бабочка», что означало шутку, – ибо жара, лето, и, разумеется, он пришел в майке, но, с другой стороны, это был особый день, долгожданное событие, поэтому он и нацепил не просто майку, а с намеком на фрак, торжество, праздник, – с того дня прошло ровно двадцать лет. И воды, беспокойной и жилистой, подхватившей столько словесного сору, столько больших и малых смертей, столько болезней, – так много воды утекло за эти двадцать лет, что если бы все ее капли собрались вдруг вместе и так, единым потоком, рухнули в глубочайшую впадину или, на худой конец, в какой-нибудь котлован, то там, внутри впадины или котлована, образовалось бы необозримое, жгучее от соли море и отразило в себе...

Нет, может быть, ничего и не отразило бы.

Рейчел, кстати, не хотела никаких отражений. Она требовала, чтобы жизнь была как ровная, забетонированная поверхность. А рытвины потрясений, гнойники памяти – все это должно остаться внутри, и как можно глубже.

Почему же майским вечером – пышным, светло-синим, когда особенно неумоимо и радостно переливался и грохотал город, оказавшись на «Щелкунчике» рядом с незнакомой женщиной, почему она – сама, первая! – заговорила с ней и, по акценту поняв, что соседка ее родом из России, тут же перешла на родной язык и сказала, что сегодня ровно двадцать лет, как она из Москвы?

О страхах ее никто не знал. Их было много, но **этот** – по силе своей – равнялся лишь ее навязчивому страху смерти. Пусть ездят другие, пусть они покупают там дачи, ходят по театрам, отбеливают зубы! Ей – нельзя. Ведь даже если их уже нет на свете – ни Теймураза, ни Верико, – лишь рассыпавшиеся кости, лишь развалившиеся черепа с вытекшими глазами, когда-то похожими на продолговатые мокрые сливы, – все равно они лежат, продолжают рассыпаться, расползаться и догнывать в **той** земле. Значит, если она вдруг ступит на **ту** землю, подошвы ее почувствуют их. Рейчел хотела покоя и, кажется, обрела его, выйдя замуж за Майкла и снова перебравшись в Нью-Йорк после четырнадцати лет жизни с Олегом Васильевичем в Лос-Анджелесе. Олег Васильевич отслужил свое, он выполнил все, что от него требовалось, и наконец – ни на секунду не заподозривший, что Саша не его ребенок, поверивший ей и даже не посчитавший толком сроков беременности, – Олег Васильевич начал постепенно вызывать у нее острое раздражение именно тем, что все уже выполнил, а теперь без толку дышал рядом, и рядом сопел по ночам, и – главное – пил кофе, отвратительно оттопырив мизинец.

Будучи уже ничем, совершенно напрасно, без толку! Она не желала ему плохого. Только исчезнуть. Заплатить как можно больше по разводу и исчезнуть. С Майклом, который подвернулся тогда, когда мизинец Олега Васильевича стал особенно гадок, блеснуло поначалу что-то вроде любви и, главное, страсти, а она знала, что это такое, она-то помнила.

Теймураз, хриплое дыхание его.

В Лос-Анджелесе Майкл был всего-навсего одним из многочисленных голливудских продюсеров. Рейчел настояла на том, чтобы он перебрался в Нью-Йорк. В два счета она привела в порядок все его дела, продала один дом и тут же купила другой, гораздо более удобный и в лучшем месте. Олег Васильевич выплатил ей при разводе двести пятьдесят тысяч (ах, господи, да что такое двести пятьдесят тысяч в Нью-Йорке?), и Майкл стал наконец одним из самых успешных режиссеров-документалистов. Ее волей, ее мозгами! Так что все вроде бы шло хорошо: деньги были, и было что-то вроде любви, ну, скажем так, страсти, но покоя не было, и по-прежнему она покупала вещи только на больших распродажах, чтобы хоть в чем-то не потерять лишнего.

На этом-то он и поймал ее, скользкий бесенок. Маленький рогатый хорек с глазками, похожими на сморщившийся изюм. Он вечно скребся, вечно царапался и попискивал всякий раз, когда Майкл начинал вдруг разбрасываться деньгами, делать дорогие подарки матери, сестрам и дочке от первого брака, – да если он даже просто оставлял официанту щедрые чаевые, Рейчел чувствовала, как бесенок внутри ее просыпается от негодования и, сладострастно урча, впивается коготками в самую печень. И когда эта русская милая женщина на балете «Щелкунчик» обмолвилась, что ей уже пятьдесят восемь (чему поверить, глядя на ее молодое, блестящее от косметики лицо, было просто невозможно!), бесенок внутри Рейчел стал вдруг горячим, как уголь, и тут же – маленький, мускулистый мерзавец! – проскользнул глубоко в ее горло и суховатым голосом удивился:

– Может быть, вы тогда поделитесь своим секретом?

– В Питере, – сказала балетная соседка. – Частная клиника. Европейское оборудование, хирурги! У нас здесь таких нет! Хотите, запишите телефон. Да, вот у меня с собой, вот он, в книжечке. Там это стоит в десять раз дешевле, чем здесь. Я не преувеличиваю: в десять раз.

Вернувшись домой, она села перед зеркалом и жадно, страдальчески, гневно всмотрелась. Сейчас еще ничего, но через пару лет будет ужасно. Откинула шею. И шея тоже. Сорок пять, пора. Значит, если с дорогой и с проживанием прямо там, в клинике, все это обойдется не больше чем в три – три с половиной тысячи. Грех не воспользоваться. Майкл ничего не будет знать. Поехала в Россию навестить родственников. О Москве не вспоминать, не думать. Лететь прямо в Питер, десять дней в клинике, обратно на самолет и домой. Из клиники можно и вовсе не выходить. Десять дней полного отдыха. Отосплюсь.

Утро, в сгустках неуклюжего июньского тумана, похожее на мокрый деревенский платок, пахнущее бензином и только что родившейся в парках травой, приняло Рейчел, заспанную, за свою, но вскоре опомнилось, распознало иностранку и вытолкнуло прямо ей под ноги шуплого, ростом с двенадцатилетнего школьника, мужичка:

– Speak English? Go in town?¹ – начал было мужичок, но она оборвала его:

– Я говорю по-русски.

И назвала адрес.

Он покрутил головой – маленькой, птичьей, со спрятанным под кожаную кепочку хохолком – и, недовольный, что заработать, как хотелось бы, не удастся, крикнув, подхватил ее чемодан, свалил его в багажник, и они покатили в разболтанной, прокуренной машине, где над зеркалом была приколотая толстоногая Пугачева – вся белая, кудрявая и перетянутая, со своими русалочьими развратными глазами, выплывшими из-под огромной и пышной, как свадебный торт, шляпы.

В клинике, несмотря на раннее утро, никто не спал. Девушка с чудесной темно-русой косой и выпуклым светлым лбом, только что выкурившая сигарету на лестнице и поэтому быстро засунувшая в рот леденец, провела ее в одноместную палату, где негромко рабо-

¹ Вы говорите по-английски? Едем в город? (англ.)

тал подвесной телевизор, а ванна была ослепительной, как первый снег, который, однако, здесь, в этом городе, никогда не успевает продержаться в первозданном своем, ослепительном облике из-за ядовитых выхлопных газов. Операцию назначили на одиннадцать, предложили принять душ и немного подремать. Есть нельзя: наркоз.

Рейчел покорно приняла душ, вымыла голову и только опустила ее на хрустящую подушку, как солнечный столб из окна, надвое разрезавший комнату, стал таять, а вкусный, как яблоко, девичий голос протянул: «Ну, прямо! Когда ж я успею?» Через секунду наступило беззвучие. Она спала. Любая энергичная, располневшая на даровых обедах санитарка, заглянувшая в палату с невыключенным телевизором, увидела бы, что прилетевшая из Нью-Йорка пациентка крепко спит, устав от дороги, – в то время как сама Рейчел (может быть, из-за этой ее неутомимости и вечной тревоги) почувствовала, что давно встала и – свежая, сильная, энергичная – отказалась от ненужной операции, вышла из клиники, поймала такси и поехала на Московский вокзал, чтобы немедленно, с первым же поездом укатить из Петербурга в тот город, где сорок пять лет назад ее покойная мать, визжа и вцепившись ногтями в руку терпеливой и тоже давно уже покойной акушерки, выталкивала окровавленную чернотглазую девочку на свет жизни.

Итак, она доехала до Московского вокзала, расплатилась с таксистом – оказался тот же самый, с хохолком и белотелой развратницей, – почувствовала, до чего голодна – так бы и проглотила всю продовольственную палатку, – убедилась, что поступила правильно, не оставшись в клинике и не рискнув своим великолепным лицом, – что они умеют, эти русские? – разыскала буфет, заказала блины с красной икрой, но тут же остолбенела, не донесла до раскрытого рта серебристую вилку с жирным, сладковатым тестом, потому что в буфет, крепко держа за руку маленького Сашу, вошла женщина, знакомая до того, что при ее появлении у Рейчел остановилось сердце.

Кольца на мощных, подвижных пальцах вошедшей были те же самые, памятные с семьдесят шестого года. Тогда Рейчел, чудом не рухнувшая без сознания, энергичная, волевая Рейчел, вскочила и с пересохшим в горле отвращением двинулась к этой старухе, чтобы вырвать из ее рук все еще почему-то маленького, совсем не подросткового Сашу. Женщина немедленно заслонила Сашу собой, своей черной, шуршащей, как сухая листва, юбкой и что-то гортанно, яростно крикнула, но Рейчел не разобрала ни слова.

Через час стройная, с чудесной косой и светлым выпуклым лбом медсестра Катя вошла в палату, где недавно прибывшая из Нью-Йорка пациентка все еще спала с искаженным от гнева лицом и запекшимися губами, ласково разбудила ее и повела в операционную, где Рейчел, ненадолго очнувшись от увиденного, снова провалилась, но теперь уже в приятный, золотисто-зеленоватый туман, в котором звучали спокойные голоса, что-то звякало, и один раз густо и горячо пробежало по правой стороне лица соленое и немного колючее существо. А когда с перебинтованной и похожей на маленький белый купол головой, где на макушке топорщились твердые от крови короткие волосы, ее привели обратно в палату, и уже другая, сменившая крутолобую Катю медсестра спросила, что принести на обед, сырников со сметанкой или блинчиков с красной икрой, Рейчел вспомнила привокзальный буфет, и кровь ее больно запульсировала под бинтами.

Через три дня разрешили выйти на улицу. Марлевое сооружение наконец размотали, велели помыться – она долго стояла под душем, и бесцветная ленинградская вода стекала с нее красной, терпко пахнувшей кровью.

На Невском проспекте было ветрено, вспыхивало холодное солнце на торопливых, похожих на свежеслепленные вареники лицах. Она смотрела на них сквозь темные очки. Очки прятали ее распухшие, окруженные синяками глаза. Юноша с прыщиками вокруг тонкого рта, немного сутулый, играл на скрипке, не обращая ни на кого внимания. У ног

его лежал раскрытый футляр. Она остановилась, послушала. Ему было лет двадцать, чуть больше. Ровесник Саши. Саша сейчас в Лос-Анджелесе, у Олега Васильевича.

Рейчел достала три монетки по двадцать пять центов, бросила в футляр. Юноша искоса взглянул на них и темно покраснел. Нужно было, наверное, дать доллар. Что он будет делать здесь с американской мелочью? Но она поздно сообразила это, жаль.

Две цыганки в пестрых, забрызганных грязью юбках, во множестве звонкого, торопливо сбегающего по шеям и пальцам золота перегородили ей дорогу.

– Красивая! – закричала одна из них, помоложе, на груди у которой болтался привязанный, крепко спящий младенец. – Не убегай, красивая, слушай, что скажу!

Рейчел попробовала было обойти ее, но цыганка цепко схватила ее за рукав.

– Правильно, что сама к нам приехала, красивая! А то он бумагу собрался писать! Адрес твой разыскал! Не спряталась ты от него, красивая!

От неожиданности Рейчел приподняла темные очки и увидела, что младенец на руках у цыганки резиновый, надувной, с вылезшими капроновыми ресницами.

– Поберегись, поберегись, красивая! – каркнула цыганка. – Слушай, что скажу!

Она вдруг нырнула в щербатую, остро пахнущую помойкой подворотню, и Рейчел почему-то пошла за ней.

– Сперва заплати, красивая, – приказала цыганка. – Дело деньги любит!

Рейчел достала из сумки пять долларов.

– Жадная ты! – засмеялась цыганка, – жаднее всех! А я тебе все равно правду скажу! Ты от него детей увезла, а он из казенного дома к матери пришел! Бумагу написал, чтобы тебя, красивая, за беспредел наказать! Сыну решил про тебя рассказать, вот какие дела, красивая!

– Откуда ты знаешь? – прожигая ее распухшими глазами, спросила Рейчел.

– Еще зелененьких накидай, красивая! Жадной будешь, беду наживешь, все добро потеряешь!

Рейчел вдруг опомнилась. Вскочила со скользкой от тополиного пуха лавочки и побежала по направлению к Невскому.

– Деньги все жалеешь, красивая, а друга не пожалела! – крикнула ей вслед цыганка и тут же, свистнув юбками с приставшим к ним голубиным пометом, обогнала ее, закурила на ходу и, видимо поняв, что только теряет время, затесалась в толпу.

Значит, он жив. Он жив и приготовил бумагу. Хочет пробиться к детям. Как же он это сделает? У Верико есть связи. Брат, кажется, в Швейцарии. Майклу об этом говорить нельзя.

Ночью она не могла заснуть, потом кто-то громко крикнул «красивая!», и в углу, где тускло светилось зеркало, неожиданно заскрежетал трамвай, которого она, оказывается, долго ждала.

Затылком к ней, у промороженного окна, сидел кто-то. Она знала этот затылок до мельчайших подробностей: небольшую, с обеих сторон старательно закрытую жесткими кудрявыми волосами лысину, родинку за правым ухом, широкую статную шею, помнила даже запах горьковатого одеколona, которым сидящий в трамвае обрызгивал лицо себе после бритья.

* * *

– У вас разменять не найдется?

– А вы нэ платитэ, дэвушка, – сказал он с сильным грузинским акцентом и медленно обернулся. – Эсли кандуктор придет, я за нас с вами штраф а-атдам, а мэлочи у меня самого нэт.

Она была бедной, молодой, гордой и больше всего хотела замуж, потому что устала жить в коммуналке с отцом и бабкой. Но еще больше она хотела влюбиться – кровь заго-

ралась в ней при одной мысли о страшных объятьях, невыносимых прикосновениях, – но подружки, гораздо менее красивые, чем она, давно уже сверкали своими обручальными кольцами и в перерывах между экзаменами бегали на аборт, а ей все не везло, не везло, хотя и она потеряла девственность на втором курсе. Не по любви. Исключительно из любопытства, и тот, с кем это случилось, был таким же молоденьким, таким же любопытным и таким же неопытным, как она. Кроме того, он приходился родным братом Осиповой, с которой они вместе учились. Договорились попробовать однажды вечером и попробовали. Брат Осиповой вскоре женился на крепкой высокой девушке, приезжей из Ташкента. Это было два года назад.

– Можно я вас пра-а-вожу? – спросил тот, у которого она попыталась разменять десять копеек.

Они пошли к нему домой, в небольшую однокомнатную квартиру на Ломоносовском, которую он тогда снимал. Вернее, Верико снимала ему за сто пятьдесят рублей. Ни один из них не произнес ни слова. Она сняла пальто и, как была в зимних сапогах и вязаной шапочке, покорно легла на диван.

Утром он вызвал такси и сам расплатился с шофером. Меньше всего она поверила, что в четыре он будет ждать ее там же, на трамвайной остановке. Уже тогда она никому не верила на слово. Весь день, до четырех, тело ее горело так, будто она много часов провела на открытом солнце где-нибудь в Коктебеле или Сочи. Близких друзей у нее не было, но была Осипова, та самая, брат которой женился на девушке из Ташкента. При слове «грузин» Осипова выкатила белки и подавилась сигаретным дымом.

– Розка, – сказала Осипова, давно уже замужняя и несчастливая в браке. – Не подцепи чего-нибудь.

Через месяц она перебралась к нему на Ломоносовский. Дома, в коммуналке, остался тихий, небритый отец, бывший военный, которого лет за пятнадцать до этого бросила ее мать, тоже черноглазая и отлично танцующая танго. Узнав, что дочка переезжает к аспиранту-грузину, отец пожелал запретить, схватился за сердце и даже неловко ударил ее по лицу костяшками прокуренных пальцев.

– Он же на тебе не женится! – кричал отец, пытаясь перекрыть магнитофон, который она завела, чтобы не слышали соседи. – Неужели ты, идиотка, думаешь, что он на тебе женится?

– Я на тэбэ нэ жэнюсь, – сказал Теймураз, – мнэ нужен чистый снег. – Он подхватил пригоршню рассыпавшегося снега с верхушки сугроба. – А ты нэ чистый, по тэбэ уже ходили.

Из гордости она не говорила ему, что многочисленные любовники, которых он ей приписывал, существовали только в его воображении, а в жизни был всего лишь одноразовый брат Осиповой, но поджимала губы и, сверкая глазами, совсем переставала отвечать, отворачивалась. Ночью он обычно просил прощения, бормотал нежные слова, а она и в постели была молчаливой, никогда ничего не бормотала и однажды так сильно укусила его в шею, что он вскрикнул.

Летом она обнаружила, что беременна.

Денег не было совсем, аборт – так, чтобы с наркозом и по знакомству – стоил дорого, они продали в букинистический Полное собрание сочинений Паустовского, но этого не хватило, поэтому она зашла в гости к Осиповой в ее богатую генеральскую квартиру и незаметно положила к себе в сумочку маленькую Ахматову и синенькую Цветаеву из «Библиотеки поэта» (ни Осиповой, генеральской дочке, ни мужу ее, сыну академика, не нужны были эти книги, которые им к тому же ничего не стоили). В букинистическом на Арбате у нее с рук купили и Ахматову, и Цветаеву. Теперь можно было искать врача, договариваться, но у Теймураза, которому она позвонила из автомата и сообщила, что деньги есть, вдруг мрачно упал

голос, он велел ждать его на Калининском рядом с подземным переходом, приехал на леваке, потащил ее обедать в «Прагу», на второй этаж, где летом столы накрывали на открытой веранде, и там, не отрывая от ее лица своих продолговатых, похожих на размокшие сливы, умоляющих глаз и отщипывая от пыльного листа растущей в кадке пальмы, сказал, что долго советовался по телефону с мамой (так он называл свою мачеху Веру Георгиевну, живущую в Тбилиси) и она, оказывается, видела сон, в котором фигурировал младенец мужского пола, похожий на Теймураза как две капли воды.

– Я на тэбэ жэнюсь, Роза, – сказал он. – Нэ дам сына убивать, нэ дам.

Она знала, что он женится только из-за ребенка, поэтому в день свадьбы была мрачнее тучи и особенно неутоленно сверкала зрачками. За несколько дней до того, как их расписали, прилетела из Тбилиси «мама», Вера Георгиевна, Верико, совсем еще нестарая – лет пятидесяти семи, статная и большая, с огромной прической, роскошно одетая во все черное, в бриллиантах на каждом пальце, обняла ее и даже притиснула к сердцу, пронзительно пахнущему французскими духами сквозь тонкое черное платье. Тогда же Роза почувствовала, что у Веры Георгиевны не было дня хуже, чем этот, и вскоре – по томным, мучающимся взглядам, которые та бросала на своего «сына», – поняла, что не ошиблась.

Верико привезла деньги, заставила Розу купить сиреневый брючный костюм (ничего уже не лезло на вспученный живот, где сидел младенец), позвонила директору Елисеевского магазина, пророкотала басом: «Жора, дарагой, я са-а-аскучилась», – а потом перечислила по бумажке все, что нужно к столу. Гостей было немного: отец во всех своих орденах и медалях, бабка, мать бросившей Розу матери, в длинном шелковом халате, который появился в их доме тогда, когда они с мужем строили Китайскую железную дорогу, Надар, ближайший друг Теймураза, тоже аспирант и тоже грузин, и на исходе вечера пришла закопченная горем Осипова, брошенная сыном академика.

Эка родилась через четыре месяца после свадьбы. Первый раз вставшая с постели Роза подошла к окну и увидела, как Теймураз, бледный и расстроенный, сидит на скамеечке в сквере роддома, сжимая в руках окровавленный пакетик с клубникой. Лицо у него было таким, словно ему только что сообщили тяжелый диагноз. Верико прислала пятьсот рублей, но сама не приехала и новорожденной интересовалась мало. Бабка, построившая в свое время Китайскую железную дорогу, вызвалась помогать, но была забывчива, бестолкова, засыпала на ходу. Тихий несчастливый отец той же осенью умер во сне от инфаркта.

Если бы не строптивый характер Теймураза и не барские его, вывезенные из Тбилиси привычки, денег, которые каждый месяц присылала Верико, должно было бы хватать на жизнь. Но он не признавал никакого другого транспорта, кроме такси, никакого другого мяса, кроме рыночного, никаких рубашек, кроме тех, которые приносили фарцовщики. Перевод от Верико приходил первого числа. К десятому деньги заканчивались. Роза была в ужасе. Скандалы, бушующие на глазах у двухмесячной Эки – таких же, как у него, влажных, продолговатых, похожих на сливы, – с каждым разом становились все громче.

– Ты! – кричал он. – Что ты мнэ будэш гаварить здэсь! Ты мнэ даже сына не сумэла родить! Ты мнэ будэш указывать!

Он уходил к себе в лабораторию, яростный, с трясущимися руками, но еще не насытившийся ею, еще одурманенный ее ледяным молчанием, особой какой-то бледностью, которая страшно шла ей, и через два часа начинал звонить домой – сперва раздраженно, чтобы продолжить спор, потом мягче и наконец совсем терялся, скрипел зубами от отчаяния, а вечером возвращался на попутке, с измятыми цветами, заняв у Надара очередную двадцатку. Потихоньку она начала продавать хозяйские книги. Сначала Фенимора Купера, потом Джека Лондона, Стефана Цвейга. Хозяева работали в Каире, ни о чем не догадывались. Теймураз пропажи книг, разумеется, не заметил.

Эке исполнился год, и Надар, единственный в Москве близкий человек, пришел поздравить.

– Можно двери обивать, – сказал он строго. – Нетрудная работа. Импортным кожзамени-
нителем. На складе есть друг. Материалы будет отдавать дешево. Каждая дверь – восемьде-
сят рублей. Три двери в неделю – двести сорок. Четыре – триста двадцать. Заказы будут.

У Теймураза в наивном, надменном лице вспыхнуло сомнение: кожзамени-
тель этот, он что, ворованный? Надар не успел ответить.

– Хочешь больного ребенка? – ледяным своим голосом перебила его Роза, кивнув под-
бородком на шуплую Эку. – Без овощей, без фруктов! Ты посмотри на нее! Она же вся в
диатезе! Зеленки не хватает! Вся запаршивела!

Он резко вскочил и изо всех сил рванул на себя скатерть. Вино разлилось по полу,
посуда разбилась. Она поняла, что победила.

Теперь они виделись мало, в основном по ночам. Он пропадал в лаборатории, а по
субботам и воскресеньям обивал двери. Надар скоро остыл к своей затее, да и деньги были
нужны ему не так остро, – и Теймураз остался один. Роза вздохнула свободнее: наняли
няньку и начали покупать на рынке фрукты и овощи. Возвращаясь домой за полночь, с серым
от усталости лицом, он вываливал на кухонную клеенку то двести, то триста рублей и тут
же засыпал. Времени на скандалы не было.

Через полтора года его посадили за скупку краденого и незаконное предприниматель-
ство. Суд был в среду. В пятницу разрешили короткое – на десять минут – свидание.

– Что ты желтая вся? – спросил он через решетку. – Что болит, радость моя, а?

Она молча смотрела на него своими ослепительными, сухими глазами. Ему дали десять
лет. Одна с крошечным ребенком. Без копейки. Опять все равно что не замужем. Только на
четыре года старше.

– Я залетела, – глухо сказала она. – Надо скорей избавляться.

Он побелел. Губы на колючем поседевшем лице затряслись. Ей показалось, что он сей-
час станет перед ней на колени – там, со своей стороны решетки.

– Ума-аляю тэбя, – пробормотал он, – нэ убывай! Пускай сын будет!

– Ты что, рехнулся? – спросила она и тоже побелела. – Как же я сейчас рожать буду?
Одна?

– Мама па-аможет! – прохрипел он. – Я маму па-апра-ашю, она сделает! Я тэбя на
руках носить буду, только нэ убывай!

– Где ты меня будешь носить? – спросила она. – По территории лагеря?

Теймураз не ответил. Так его и увели, закрывшего локтем седое лицо.

Через два дня она познакомилась у Осиповой с Олегом Васильевичем Желваком. Олег
Васильевич приехал из Риги, чтобы получить израильскую визу в голландском посольстве.
Эмигрировать он собирался в Нью-Йорк вместе с мамой. У него была шелковая борода и
очень длинные пальцы. Желваки, действительно заметные на худощавом приветливом лице,
перекатывались под кожей. Олег Васильевич, зубной врач районной рижской поликлиники,
был холост. Ее ослепительные глаза обожгли его, и, как всякий не очень решительный чело-
век, который должен хоть раз в жизни сделать что-то сторяча, не раздумывая, Олег Василье-
вич тут же, на кухне у Осиповой, сделал Розе формальное предложение.

– Я согласна, – сказала она и слегка приоткрыла бледные, без помады, губы. – Но я в
некотором роде замужем.

– Это ничего, – вспыхнул Олег Васильевич. – Вы разведетесь.

В Америку он улетел только через восемь месяцев, задержавшись из-за внезапной
болезни и смерти матери. Теймураз был в лагере под Архангельском. Она могла увидеть его
– раз в году полагались свидания – и не увидела. За большую взятку – ход нашла она, деньги,
разумеется, заплатил Олег Васильевич – их с Теймуразом развели, ничего не сообщив ему

предварительно. Олег Васильевич удочерил Эку – за еще большие деньги. Саша, которого она не уничтожила, пока он был внутри, родился как законный ребенок Олега Васильевича Желвака, и молодожен-отец (шелковая борода, нежные пальцы!) ничего не заподозрил.

Она умела молчать. О, как умела! Слава богу, что не погорячилась с абортom. Этот будущий ребенок склеил их намертво. Саша родился, и Олег Васильевич начал как лев бороться за выезд своей семьи из России. Добился личной аудиенции с сенатором Тедом Кеннеди. Тот вышел к нему – пахнувший английскими духами, с тяжелой, в глубоких, припудренных рытвинах челюстью. Пожал Олегу Васильевичу руку.

Роза бросила однокомнатную на Ломоносовском тайно от Верико. Верико постоянно наезжала в Москву хлопотать за Теймураза, обивала пороги, совала взятки. За один год она превратилась в старуху от горя. На Розу смотрела с ужасом, словно чувствовала, как там, в аккуратной, стриженной голове, под мраморным лбом, текут страшные для Теймураза мысли, рождаются бесноватые планы, и холод, холод стискивает сердце молодой этой женщины, которая всякий раз, говоря о муже, бледнеет и раздувает ноздри.

Саше было семь месяцев, когда она удрала, не оставив Верико даже записки, поселилась в Вострякове, в деревенском доме у глухой, колченогой старухи, ждала, пока придет разрешение на выезд, мучилась с двумя маленькими детьми, сама таскала воду из колодца. Деньги-то как раз были, могла бы снять нормальное жилье – Олег Васильевич давал деньги! – но она боялась уже не только Верико, не только Надара, который получил два года условно и мог – о, мог бы, если захотел! – разыскать ее, она боялась всех – чужих и знакомых, боялась собственной тени, телефонного звонка, стука в дверь, даже глухой, колченогой старухи, которая потом, уже в Лос-Анджелесе, много лет подряд снилась ей со своей вылезшей, пегой косой...

Значит, он жив и хочет получить детей. Цыганка не обманула. Все было напрасным: шелковая борода Олега Васильевича, которая вечно забивалась ей в рот, когда он по ночам начинал вдруг целовать ее, запах его тонкой, веснушчатой кожи, гадкая фамилия Желвак, Майкл...

Ночью пахнувший рыбами и мокрым деревом ветер поднялся в городе, загудели его провода, и белые богини в Летнем саду с мучением сдвинули брови.

Рейчел спала, но сон ее был исполнен отвратительных видений, которым неоткуда было взяться в этой осторожной, хотя и беспокойной душе. Она видела себя в поле, полном чего-то хрупкого, потрескивающего, по чему идти сначала было даже приятно, как по хвосту. Потом только она догадалась, что под ногами людские кости. Тогда она побежала, но треск нарастал – значит, она попала на какое-то захоронение, расположенное здесь, в России, и тут же странная мысль, что кости не бывают ни русскими, ни китайскими, но просто чьими-то, – эта мысль так и пронзила ее. Одновременно Рейчел ощутила, что нужно все-таки подождать, пока они обрастут...

Тут жуткий сон словно бы задохнулся, и чем должны обрасти кости, не произнес, расползся, а Рейчел потянуло вниз, в бархатную, глубокую черноту, изнутри которой заблестел радостный детский голос, требующий, чтобы принесли мяса.

Из последних сил она еще попыталась понять, что за связь между этим захоронением с его громким подземным треском и словом «мясо», но ничего не поняла и проснулась от страха.

Никто не видел того, что только что видела она. Никто ничего не слышал. Лимонным, с нагретыми прожилками, светом мерцала настольная лампа над раскрытой книгой отлучившейся дежурной сестры.

Нью-йоркская пациентка натянула на себя платье, торопливо собрала сумку и, спустившись по сильно пахнущей табаком черной лестнице, вышла на улицу. Она уже ни секунды не

сомневалась в том, что ей нужно делать. Искать этих покойников, если они еще существуют. Вот что сказал ей сон, она его разгадала.

Нельзя было приезжать сюда. А раз уж приехала, значит, их нужно найти и договориться с ними. Мозг ее работал острее и интенсивнее, чем обычно. Почему-то она ни секунды не сомневалась в том, что узнать, где они, можно будет у Надара. А Надара легче легкого разыскать в той лаборатории, где они с Теймуразом когда-то работали вместе. На Ломоносовском проспекте, рядом с ФИАНом, во дворе. Там, кажется, была арка. И серый сугроб рядом с ней. Билет она купила прямо в поезде. Все пассажиры, кроме угрюмого старика в рубашке, открытой на кудрявой груди, крепко спали. Потом появилась проводница, ласковая и слегка отечная, шепотом спросила, не хочет ли Рейчел покушать. Проводница была похожа на Анну Елисеевну, соседку по подмосковной даче. Те же умиленные глазки, тот же остренький клюв, нависший над подрисованной верхней губой.

– Послушайте, – не выдержала Рейчел, – вас не Анной зовут?

– Анной, – ахнула проводница, – вы откуда знаете?

– А по отчеству? – замирая, спросила Рейчел.

– Владимировной, – суетливо хихикнула проводница.

У Рейчел отлегло от сердца.

– Могу ли я попросить у вас чаю?

– И чаю можете, и какао. Кофе вот, к сожалению, кончилось. Привык наш народ кофе дуть, прямо не напасешься. А что к чайку хотите? Могу бутербродик принести, могу пирожное. Шоколад есть бельгийский, очень великолепный. Пористый.

У Надара был массивный пористый подбородок. Она толкнула дверь коленом, как делала всегда, когда сильно волновалась. Та же лаборатория, ничего не изменилось. Надар сидел на своем обычном месте. Перед ним на стеклянной подставке лежала простоволосая худощавая крыса, окруженная своими еще слепыми и мокрыми новорожденными детьми. Дети мигали дрожащими веками, тянулись к материнским соскам.

– Мне нужен адрес Теймураза, – с порога сказала Рейчел.

– А мне нужно увидеть твои глаза, – отозвался Надар с легким, едва заметным акцентом. – Я ха-ачу посмотреть в твои глаза, Роза.

– Зачем? – спросила она.

– Потому что, если у человека нет совести, его глаза это не спрячут, – сказал Надар и пинцетом отодвинул в сторону одного из крысят: – Полежи здесь, дай другим па-а-кушать.

– Она жива? – спросила Рейчел. – Мать?

– Верико Георгиевна? – уточнил Надар. – Да, Верико Георгиевна жива.

– А он?

– Из всех из нас, – ответил Надар и пинцетом погладил мышь по голове, – умер только один человек. Да, я считаю, что это хуже, чем смерть.

– Ты, – усмехнувшись, спросила она, – ты, наверное, меня имеешь в виду?

– Ты умная, Роза, – сказал Надар, – всегда была умная. Но ты грязная. Темури знал, что ты грязная. Ты воровка, Роза.

– Дай мне его адрес, – сказала она

– Ты знаешь его адрес, – ответил он. – Тот же самый адрес, Роза.

– Ничего не понимаю, – прошептала она, – как же так? Здесь, в Москве? А как же квартира в Тбилиси? У Верико же там квартира. Они там прописаны...

– Сейчас все па-а-менялось, Роза, – пробормотал он, – они перебрались сюда. Иди, говори с ними. Может быть, Темури захочет простить тебя. Темури добрей, чем я, Роза. Но ты все-таки сними очки.

– Не могу, – сказала она и повернулась, чтобы уйти.

– Куда ты дела свое лицо? – крикнул он вслед. – Ты сейчас некрасивая на свою внешность. Страшная ты, Роза.

Сугроба нет, потому что лето. Зимой здесь всегда появляется черный от выхлопных газов сугроб.

Лифт, как всегда, не работал. Ну и прекрасно, так даже лучше, потому что ей никогда не нравились лифты. В Нью-Йорке с этим приходилось тяжело. Не идти же пешком на двадцать третий этаж, например. Она вообще боялась закрытого пространства. Олег Васильевич однажды сказал ей, что и к смерти она относится с таким ужасом потому, что представляет себе только одно: как ее заколотят в ящик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.